

Мысли о Россіи

III*)

За оживленными разговорами о собственности и мужикѣ длинный вагонный день пролетѣлъ очень быстро. Смотрю на часы — скоро Эйдкунень. Странно: не стоять ли съ утра? Подношу къ уху — идутъ...

Эйдкунень... граница... Европа... — соответствующихъ же ощущеній на сердцѣ никакихъ! А вѣдь когда-то какъ представлялось! Эйдкунень, Берлинъ, Мюнхень, Флоренція, Римъ. Прислушиваюсь къ своему сердцу, не остановилось-ли? Нѣтъ, бьется, что-то выстукиваетъ, что-то новое, сложное, непонятное, но только не радостный ритмъ долгожданнаго вѣзда въ Европу.

Въ позапрошломъ году составлялъ я въ Москвѣ альманахъ. Обратился къ близкимъ по духу людямъ. Получилась странная картина: ни одинъ рассказъ не имѣлъ мѣстомъ своего дѣйствія Россіи. Ривьера, Парижъ, Флоренція, Гейдельбергъ, Мюнхень, Египеть — вотъ о чемъ писали, о чемъ мечтали, къ чему стремились русскіе люди, старые «добрые европейцы», въ годы революціи.

Но вотъ мы изгнаны изъ Россіи въ ту самую Европу, о которой въ послѣдніе годы такъ страстно мечтали, и что-же? Непонятно, и все-таки такъ: — изгнаніемъ въ Европу мы оказались изгнанными и изъ Европы. Любя Европу, мы, «русскіе европейцы», очевидно любили ее только какъ прекрасный пейзажъ въ своемъ «Петровомъ окнѣ»; ушелъ родной подоконникъ изъ подъ локтей — ушло очарованіе пейзажа.

*) «Соврем. Зап.», №№ XIV (I), XV (II).

Нѣтъ сомнѣнiя, если нашей невольной эмиграціи суждено будетъ затянуться, она окажется вовсе не тѣмъ, чѣмъ она многимъ въ Россіи казалась, -- пребываніемъ въ Европѣ, а гораздо болѣе горшею участію, пребываніемъ въ Торричеллиевой пустотѣ.

Но, конечно, всѣ эти чувства въ вечеръ, когда поѣздъ подходилъ къ дебаркадеру Эйдкунена, были въ моей душѣ еще не чувствами, а всего только отсутствіемъ тѣхъ чувствъ, которыхъ я отъ себя ждалъ, представляя себѣ свой переѣздъ черезъ границу. Да и это отсутствіе было тоже чѣмъ-то очень тайнымъ и скороненнымъ, чѣмъ-то очень внутреннимъ.

Внѣшне-же все обстояло прекрасно. Нашъ титулованный нѣмецъ избавилъ насъ отъ всѣхъ пограничныхъ процедуръ. Мы не показывали багажа, а отдавъ паспорта прямо прошли въ залъ I и II класса и сѣли ужинать. За ужиномъ нашъ спутникъ провозгласилъ тостъ за Россію, за Германію, за нашъ союзъ...

Германія насъ не только впускала къ себѣ, она насъ принимала и чествовала!

Въ нѣмецкомъ спальномъ вагонѣ ѣхали почти одни только нѣмцы. Богатая русская публика: развѣнчанные коммунисты и коронованные нѣпманы слѣдовали уже отъ самой Риги въ гораздо болѣе удобныхъ, но и гораздо болѣе дорогихъ международныхъ вагонахъ. Совсѣмъ безденежная русская публика ѣхала простымъ третьимъ классомъ.

Было еще рано ложиться спать. Поужинавшіе «bei sich zu Hause für's billige Geld» нѣмцы благорастворенно курили въ слабоосвѣщенномъ корридорѣ вагона. Очень ихъ хорошо и близко зная, я заново поразился ихъ характерною внѣшностью: заамуниченностью, взнузданностью, подтянутостью и шарнирностью. Въ удушающемъ крахмалѣ, свѣже стриженные и четко причесанные, они являли собою такое глубокое отрицаніе всѣхъ формъ и законовъ стилистики вагона: законовъ удобства, свободы движенія, усталости, что, будучи (я тща-

тельно оглядѣль всѣхъ) довольно складными людьми, производили впечатлѣніе какого-то явнаго уродства. Помню, какъ меня въ мой первый прїѣздъ въ Берлинъ поразило дикое зрѣлище смѣны дворцоваго караула. Это было все то же единственное въ Европѣ германское уродство: механичность и манекенность.

Какъ знать, не проиграли-ли нѣмцы и битвы на Марнѣ, да и всей войны по причинѣ недостаточно остраго ощущенія живой, органической красоты, по причинѣ своего глубокаго нѣдовѣрія къ творческой роли случая, произвола и всяческой непредвидѣнности, по причинѣ изгнанія искусства и артистизма изъ своихъ военныхъ и дипломатическихъ расчетовъ и построений. То, что они въ концѣ концовъ были разбиты грандіознымъ механизмомъ американской цивилизаціи — не опроверженіе. Американская цивилизація — явленіе совсѣмъ другого порядка, чѣмъ довоенная нѣмецкая. Американская — одушевленіе вещей; нѣмецкая — овеществленіе людей.

Вещи и люди — замѣчаетъ гдѣ-то Шеллингъ, — гибнуть, измѣняя своей сущности. Нѣмцы существеннѣе всего въ музыкѣ и философіи. Врядъ-ли это достаточная предпосылка для удачной игры въ римлянъ XX-го вѣка. Не есть ли пораженіе Германіи только возвращеніе Германіи къ своей сущности, и въ этомъ смыслѣ побѣда, если и не надъ міромъ, то надъ собой...

Но возвратимся къ мыслямъ о Россіи.

Къ вокзалу «Шарлоттенбургъ» вагонъ подходитъ почти пустой. Мы стоимъ у окна и ждемъ — не встрѣтитъ-ли кто. Хотя кому-же встрѣчать — мы никого о своемъ прїѣздѣ не извѣщали. Мы не извѣщали, но кто-то за насъ извѣстилъ, и, не успѣвъ еще выйти изъ вагона, мы уже видимъ, какъ прямо на насъ несутся: букетъ красной гвоздики, контръ-революціонныя ножки въ шелковыхъ чулкахъ, мужской котиковый воротникъ, и сзади нервно подергивающееся пенсне... Я радостно чувствую, что насъ встрѣчаютъ съ незаслуженною

радостью, но чувствую также и то, что рады всѣ не только намъ, но прежде всего Россіи въ насъ... Въ это мгновение я слышу почти умиленный голосъ: «нѣтъ... калоши!». Ну, конечно, мои глубокія калоши вполнѣ стоѣтъ въ данную минуту всего меня.

Насъ берутъ подъ руки и куда-то ведутъ. Мы разговариваемъ громко и весело. Я жестикулирую не только рукой, но, по неисправимой привычкѣ, и палкой. Встрѣчающіеся нѣмцы смотрять на насъ съ досадой и неприязнью. Огибаютъ насъ чуть-ли не храпя, какъ лошади верблюдовъ. Раньше этого не было. Это грустно, даже немного больно. Но грустить мы будемъ потомъ. Пока все сплошной сонъ, въ которомъ не страшны даже и неприязненные нѣмцы. Двадцать минутъ безпорядочнаго разговора на вопросительныхъ знакахъ, паузахъ и многоточіяхъ, и мы у подъезда одной изъ эмигрантскихъ штаб-квартиръ. Входимъ въ нарядный вестибюль. Наши спутники съ невѣроятною тщательностью вытираютъ ноги: точно мужики, пришедшіе въ барскій домъ съ иконами. Еще не успѣлъ показаться портю, какъ я уже слышу взволнованный шопотъ: «пожалуйста, поздоровайся съ нимъ». Я любезно здороваюсь и уже чувствую въ себѣ нѣкоторый заискивающей страхъ передъ грозой дома. Подымаемся по лифту. Входимъ въ хорошую буржуазную квартиру. Чинная прислуга, чинная мебель, четко, немножко голо, очень чужестѣнно. Все свое, собственное, купленное — а связи съ купившими нѣтъ: точно живутъ люди не въ своей квартирѣ, а въ реквизируемой.

Очевидно *внезапно* купленное «свое» въ чужой странѣ — совершенно такъ же «не свое», какъ «не свое» въ своей — *внезапно* реквизируемое «чужое». Сколько совѣтская власть ни декретировала отмѣну частной собственности, она мужика его собственности всетаки не лишила, и какъ ни старались нѣкоторые эмигранты поселиться на чужбинѣ въ собственныхъ домахъ и квартирахъ, имъ это всетаки не удалось. Не удалось потому, что подлинная собственность есть мое овеществленное «я», т. е. нѣкая весьма сложная духовная цѣнность, приобретаемая исключительно путемъ упорнаго творческаго

и любовнаго труда. Ни одна вещь не может быть въ собственность ни куплена, ни реквизирована, въ собственность она можетъ быть только облюбвана и обжита. Собственные земли, дома, квартиры и просто вещи на чужбинѣ невозможны. Ибо въ чужой странѣ можно себя не чувствовать несчастнымъ чужестранцемъ, только если чувствовать себя «очарованнымъ странникомъ». Но «очарованный странникъ» не собственникъ. Въ лучшемъ случаѣ, если онъ не подлинный «очарованный странникъ» а всего только разочарованный путешественникъ, онъ возможный собственникъ не земли, дома и квартиры, а развѣ только автомобиля. Сколько я ни видѣлъ впоследствии эмигрантскихъ квартиръ въ Берлинѣ и Парижѣ — въ нихъ почему-то все время оставался, на мой по крайней мѣрѣ слухъ, знакомый по совѣтской Россіи характернѣйшій звукъ реквизированности.

Черезъ нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда мнѣ довелось встрѣтиться съ цѣлымъ рядомъ довольно высокопоставленныхъ нѣмцевъ и большимъ количествомъ верховъ и вождей берлинской эмиграціи. Характерная разница между нѣмцами и эмигрантами заключалась въ томъ, что политически весьма разномыслящіе нѣмцы относились къ большевистской Россіи въ общемъ довольно однообразно, въ то время какъ политически очень близкіе другъ другу эмигранты ощущали проблему коммунистической Россіи весьма разнo. Чувствовалось, что для нѣмцевъ вопросъ «большевизма» всего только вопросъ прагматически политическаго расчета, для эмиграціи-же, какъ конечно и для всѣхъ русскихъ людей — и для насъ, высланныхъ, и для тамъ оставшихся — вопросъ далеко не только политической цѣлесообразности, но и всей нашей цѣлостной человѣческой сущности. Во всѣхъ разговорахъ, при всѣхъ встрѣчахъ съ душевно близкими людьми, мучительно ощущалась все та же самая проклятая, почти неразрѣшимая трудность проблемы большевизма: — требованіе, чтобы она была разрѣшена во всѣхъ плоскостяхъ, не только въ политической, но и въ нравственной и въ религіозной.

«Никакая иная власть кромѣ большевистской сейчасъ фактически невозможна», «всякая иная только снова ввергнетъ Россію въ ужасы террора и войны», «большевики уже идутъ тѣмъ единственно возможнымъ путемъ, который съ объективною необходимостью приведетъ ихъ къ возсозданію не только капитализма, но и государственнаго правопорядка», «самый быстрый путь ихъ сверженія — это предоставленіе ихъ логикѣ жизни» — такія и подобныя сужденія естественно приводятъ всякаго нѣмца къ признанію *совѣтской власти*. Вѣрны-ли эти соображенія или не вѣрны, для національной, русской постановки большевицкаго вопроса они во всякомъ случаѣ *не рѣшающіи*. Для русской постановки ясно, что *даже полное сознаніе* невозможности и практической нежелательности въ данный моментъ другой власти никоимъ образомъ не ведетъ къ признанію совѣтской, ибо, если политически и осмысленно всегда желать только *возможнаго*, то нравственно все-же иногда обязательно требовать и *невозможнаго*.

Вопросъ большевизма не есть для насъ вопросъ только политической. Становится по отношенію къ нему на столь узкую точку зрѣнія, значитъ превращаться изъ русскаго чело-вѣка въ иностранца или интернаціоналиста, что въ концѣ концовъ то-же самое. Весь грѣхъ «смѣновѣховства» не какъ организованной большевиками «комячейки въ эмиграціи», а какъ идейнаго движенія, заключается въ исключительно практическомъ, и тѣмъ самымъ аморальномъ и безрелигіозномъ отношеніи къ проблемѣ большевизма. Въ этомъ смыслѣ «идейные смѣновѣховцы» по своей психологій не «оторванные отъ Россіи эмигранты», но много хуже — хозяйничающіе въ Россіи иностранцы.

Я понимаю, что на первый взглядъ такая постановка вопроса, могущая при злостномъ желаніи быть истолкованной какъ опредѣленная защита тезиса «не бороться, но и не признавать», можетъ показаться весьма подозрительной. Разговаривая на эти темы, мнѣ часто приходилось слышать, что такой взглядъ — сплошная, типичная, безпочвенная интел-

лигентщина, что-то вродѣ толстовской проповѣди непротивленства. Но это только недоразумѣніе.

Большевики, захватившіе власть, были, конечно, зломъ. Со зломъ необходимо бороться силою. Это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но глубочайшимъ сомнѣніямъ подлежитъ длинный рядъ другихъ, гораздо болѣе сложныхъ положеній. Такъ, на примѣръ, далеко не всякое проявленіе силы передъ лицомъ врага можетъ быть признано за борьбу съ нимъ. Для того, чтобы проявленіе силы передъ врагомъ было борьбою съ нимъ, оно должно быть прежде всего цѣлесообразнымъ. Можно, конечно, передъ пастью разъяреннаго звѣря кладно-кровно заниматься тяжелой атлетикой, но результатъ такой подлинно героической ситуаціи возможенъ только одинъ, что звѣрь сожретъ атлета. Думаю, что людей сразу же уловившихъ въ нашемъ антибольшевистскомъ движеніи характернѣйшую для него черту легкомысленнаго увлеченія тяжелой атлетикой, и потому сознательно оставшихся работать среди большевиковъ, совершенно несправедливо огульно считать врагами Россіи.

То отрицательное отношеніе, которое наблюдается къ нимъ со стороны широкихъ круговъ политической эмиграціи, должно рѣшительно признать за неосвѣдомленность и самолюбивое ослѣпленіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что исторія увидитъ все совершенно иначе. Быть можетъ вся вражда между эмиграціей и безпартійными «совѣтспецами» окажется въ ея примиряющемъ свѣтѣ очень своеобразнымъ преломленіемъ той вражды, которая была временами такъ остра на фронтѣ между блестящей конницей и сѣрой пѣхотой, такъ называемой «кобылкой». И дѣйствительно психологія очень большой части эмиграціи многимъ напоминаетъ военную психологію самаго блестящаго, но и самаго дорогого рода оружія. Та-же переоцѣнка себя и своей сабли, то же увлеченіе тактикой доблестнаго удара, то же пренебрежительное отношеніе къ героизму будничнаго нажима и то же полное презрѣніе къ врагу. Помню, какъ на открытую позицію, которую мой взводъ занималъ

на Ростокомском перевалѣ подъ прикрытіемъ полуроты второчередного Сибирскаго полка, прибылъ съ какими-то приказаніями блестящій ординарецъ уланъ, матерой, кадровый унтеръ. Я съ нимъ разговорился, и какъ сейчасъ слышу его слова: «опасное Ваше положеніе, Ваше благородіе. Прикрытіе у Васъ! — Какіе же это солдаты. Имъ только колбасу покажи, они тутъ-же винтовки побрссають!».

Конечно были случаи, — «кобылка» сдавалась; сдавалась по очень многимъ причинамъ: и по ненависти къ собственному тылу, и отъ страха, и ради «колбасы», но въ общемъ она все-же доблестно защищала родину. Если психологія эмиграціи близка психологіи кавалеріи, то психологія безпартійныхъ совѣтскихъ работниковъ, какъ мелкихъ служащихъ, такъ и крупныхъ «спецовъ» была и осталась психологіей сѣрой, армейской пѣхоты. Та же бытовая близость къ врагу и потому та же понятная утрата ненависти, та же весьма дѣйственная энергія унылаго нажима, тотъ же героизмъ будничной борьбы и будничнаго страданія. Я всѣмъ этимъ впрочемъ отнюдь не утверждаю, что безпартійные работники совѣтской Россіи вели сознательную борьбу противъ большевиковъ.

Неоспоримымъ представляется мнѣ лишь фактъ, что свою побѣду надъ декретомъ русская жизнь одержала на территоріи той конкретной предметной работы, которую вела въ Россіи сѣрая армія совѣтскихъ безпартійныхъ работниковъ.

Эту большую заслугу за неэмигрировавшей частью интеллигенціи эмиграціи давно пора безоговорочно признать.

Сейчасъ это сдѣлать легче, чѣмъ когда либо. Вѣдь эмигрантская конница и сама очевидно спѣшивается...

Но одно дѣло — самая искренняя, политическая лояльность, совсѣмъ другое — внутреннее, нравственное признаніе.

Лояльность эта можетъ вырастать изъ самыхъ разнообразныхъ причинъ: изъ признанія прочности, длительности и обоснованности состоявшейся побѣды врага, изъ яснаго сознанія того факта, что дальнѣйшая борьба будетъ лишь усиленіемъ вражеской власти и окончательнымъ разгромомъ

всѣхъ борющихся противъ нея силъ, изъ трагически односмысленнаго убѣжденія, что вражья побѣда и вражья власть представляютъ собою въ данную минуту, а быть можетъ и надолго, *наименьшее изъ всѣхъ возможныхъ золъ*. Но если все это и ведетъ къ лояльности, то ясно, что это не можетъ и не смѣетъ вести къ внутреннему признанію. Не борются съ наименьшимъ зломъ, дабы не насаждать большаго, не только позволительно, но и обязательно. Признавать же зло не позволительно, ибо признавать зло значить его оправдывать, т. е. утверждать въ достоинствѣ добра.

Въ наши дни, когда въ умахъ и сердцахъ большого количества русскихъ людей происходитъ въ общемъ здоровый процессъ замѣны игнорирования Россіи ради большевиковъ игнорированіемъ большевиковъ ради Россіи, въ связи съ чѣмъ растутъ какъ смыслъ, такъ и соблазнъ призыва къ лояльности, — уясненіе разницы между активной политическою лояльностью и хотя бы только пассивнымъ внутреннимъ признаніемъ представляетъ собою величайшую важность.

Разницу эту прекрасно понимаетъ и сама большевистская власть. Только очень глубокимъ пониманіемъ этой разницы объясняется такое мѣропріятіе, какъ высылка изъ Россіи большого количества безусловно лояльныхъ гражданъ лишь за ихъ внутреннее непріятіе, непризнаніе совѣтской власти. Большевикамъ очевидно мало одной лояльности, т. е. мало признанія совѣтской власти какъ факта и силы; они требуютъ еще и внутренняго пріятія себя, т. е. признанія себя и своей власти за истину и добро. Какъ это ни странно, но въ преслѣдованіи за внутреннее состояніе души есть нота какого-то извращеннаго идеализма. Очень часто чувствовалъ я въ разговорахъ съ большевиками, и съ совсѣмъ маленькими сошками, и съ довольно высокопоставленными людьми, ихъ глубокую уязвленность тѣмъ, что, фактическіе побѣдители надъ Россіей, они все же ея духовные отщепенцы, что, несмотря на то, что они одержали полную побѣду надъ русскою жизнью умѣлой эксплуатаціей народной стихіи, — они съ этой стихіей все таки не слились, что она осталась подѣ

ними краденымъ боевымъ конемъ, на которомъ имъ изъ бся выѣхать некуда.

Оттого, что въ лучшихъ большевистскихъ душахъ есть извращенный идеализмъ такой боли, оттого, что многихъ большевиковъ если и не мучаетъ, то все-же алить формула: «власть ваша, а правда наша», на утверженіе, или по крайней мѣрѣ умолчаніе которой они все-же всюду наталкиваются, — оттого нѣтъ ничего болѣе гнуснаго и вреднаго, чѣмъ распространившаяся въ послѣднее время среди нашей интеллигенціи мода на самооплеваніе. Насколько важна и нужна самокритика, настолько вредно и глетворно самооплеваніе. Здоровая самокритика есть прежде всего мужественная борьба за будущее; самооплеваніе — трусливое отреченіе отъ прошлаго. Критика — наступленіе; самооплеваніе — бѣгство. Но между самокритикой и самооплеваніемъ есть еще и другая, и быть можетъ болѣе важная разница. Здоровая положительная критика возможна всегда только на почвѣ твердой вѣры въ идеаль, путь и долгъ, самооплеваніе-же есть всегда утрата всякой вѣры въ объективный идеаль, въ обязательный путь, въ отвѣтственный долгъ. Самооплеваніе потому гораздо больше чѣмъ самооплеваніе. Оно всегда не только оплеваніе своего лица, но и оплеваніе въ своемъ лицѣ всякаго образа и подобія Божія.

«Конечно, большевики преступники, мерзавцы, но все-таки они сила, въ нихъ есть вкусъ къ власти и умѣніе дѣйствовать — они совсѣмъ не то, что мы: безвольные идеологи и слюнвявые гуманисты, которымъ впору не Россіей управлять, гдѣ безъ крови не обойдешься, а развѣ только чаезничать да краснобайть». Во сколько же разъ въ такихъ рѣчахъ, не смотря на непримиримое «большевики мерзавцы и преступники» — больше внутренняго признанія большевизма, чѣмъ въ самой активной лояльности безпартійнаго совѣтскаго «спеца», борящагося за повышеніе себѣ жалованія, какъ *интеллигенту*.

Фактическое признаніе большевиковъ, какъ наименьшаго зла — это еще не обязательно признаніе. Это возможно даже и какъ платформа дальнѣйшей борьбы. Но почитаніе себя,

«интеллигенціи» за нѣчто худшее, чѣмъ мерзость и преступленіе, только потому, что тебѣ была изначально свойственна вѣра въ человѣка, совѣсть и разумъ, это уже больше чѣмъ признаніе большевизма, это порабощенность и растлѣнность имъ, это уничтоженность въ немъ. И психологически это не покаяніе и не самокритика, а самодовольство и безстыдство.

Въ самые страшные годы совѣтскаго режима, когда окончательно обезумѣвшая шахматная доска марксистски большевицкихъ выкладокъ надгробной плитою лежала на всѣхъ поляхъ и пахотахъ Россіи, единственною пробивающеюся изъ подъ нея травкой видѣлась, какъ это ни зазорно и на первый взглядъ ни странно сказать — спекуляція. Спекулянты, и прежде всего спекулянты хлѣбомъ — крупные организаторы и эксплуататоры замѣчательнаго россійскаго явленія — «мѣщеничества», были совершенно особыми людьми. Среди нихъ рѣдко встрѣчались наши степенные купцы, бойкіе лавочники, деревенскіе мужики, но было среди нихъ очень много бѣглыхъ матросовъ, бывалыхъ солдатъ, гимназистовъ, воспитанныхъ на борьбѣ съ полиціей лапсердачныхъ евреевъ, цыганъ конокрадовъ и самыхъ разнообразныхъ женщинъ. Все это жило въ различныхъ частяхъ Москвы: въ Замоскворѣчѣ, на Балчукѣ, у Нѣмецкаго рынка, около Павелецкаго вокзала и во многихъ другихъ мѣстахъ. Жили, какъ это ни странно, не вразсыпную, а цѣлыми таборами, цѣлыми лагерями, постоянно откупаясь отъ большевицкихъ агентовъ и милиціонеровъ громадными суммами, но одновременно никогда не снимая дозорныхъ постовъ. И не странно ли, что въ эти спекулянтскія квартиры интеллигентская молодежь пробиралась съ мѣшками подъ пальто за хлѣбомъ, пшеномъ и сахаромъ, совершенно въ такомъ же видѣ и въ такихъ же ощущеніяхъ, какъ въ 1905, 1906 г. г. пробиралась на конспиративныя квартиры съ революціонной литературой подъ полой. А дома совершенно такъ же какъ въ 1905 г. ждали старики родители, ежеминутно поглядывая на часы и волнуясь: не перехватили

бы милиціонеры, не окружили бы квартиры, не заарестовали бы...

Дѣйствительно, революціи нужно было окончательно сойти съ ума, чтобы превратить спекулянта въ революціонера и пшено въ динамитъ.

Помню, какъ, нагруженные пшеномъ, возвращались мы съ санитарныхъ поѣздовъ. Уже пробраться къ нимъ было часто очень нелегко. Санитарные поѣзда всегда останавливались очень далеко отъ вокзаловъ. Безконечное количество путей, безконечное количество поѣздовъ. Спросить никого нельзя. Разсказъ, на основаніи котораго идешь — темень.

«Выйдете въ тупикъ, тамъ заборъ. Въ заборѣ выбиты двѣ доски, въ эту дыру не ходите, тамъ раньше ходили, теперь сторожать. За эту дыру идите саженой сто, тамъ щупайте: доска отшита, только прислонена. Вы прямо въ эту доску, туть же недалеко тропочка внизъ, вы ступайте прямо на красный фонарь и на 5-хъ или 6-хъ путяхъ онъ и стоитъ, если не перевели. Тамъ сами увидите, вагоны такіе облѣзлые... Только не ошибитесь, съ одного вчера прямо на Лубянку отправили...

Какъ ни трудно, но туда все же не страшно, идешь съ пустыми руками. Назадъ — дѣло другое. Въ рукахъ по пуду, на спинѣ третій. Съ полотна къ отшитой доскѣ надо подыматься очень круто по откосу. Кругомъ милиціонеры, правда подкупленные, но всетаки кто ихъ знаетъ. «Порожняковъ» они всегда подпускаютъ, ну а съ грузомъ иной разъ перехватываютъ, правильно считая, что съ одного вола можно иной разъ и двѣ шкуры содрать... Сейчасъ смѣшно вспоминать, а тогда дѣйствительно чувствовалось, будто въ чемоданахъ динамитъ несешь...

Въ одной изъ подмосковныхъ дачныхъ мѣстностей дѣло было поставлено на совсѣмъ широкую ногу. У самаго полотна желѣзной дороги была реквизирована роскошная дача подъ какое-то совѣтское учрежденіе. Нужные поѣзда останавливались прямо противъ ея воротъ (паровозы до станціи не дотягивали!). Позади дачи въ гаражѣ свалено невѣроятное по тѣмъ временамъ количество муки, крупы и масла. Тайная

торговля буйствовала три дня. Цѣны скакали ужасно, потому что нервничаль мѣстный совѣтъ, ежеминутно ставя новыя условія и безпрестанно грозя «донести и разстрѣлять». Торговаль раненый офицеръ и два матроса. Изумительная была никѣмъ не предписанная дисциплинированность покупателей. У воротъ никогда не толпилось по нѣскольку человѣкъ. Никто ничего не спрашиваль, ни какъ пройти, ни какая цѣна... Входили молча со стороны полотно, уносили и увозили со двора прямо въ лѣсъ... То немного, что надо было сказать, произносилось шопотомъ. Надо всѣмъ тяготѣло то тревожное настроеніе, въ которомъ солдаты сторожевого охраненія разбирали ужинъ въ виду пострѣливающаго непріятеля.

Такъ упорно воевало боевое спекулянтское сословіе за элементарное право человѣка и гражданина не умирать съ голоду. Такъ вело оно около двухъ лѣтъ свою тревожную, бездомную жизнь, изо дня въ день теряя большое количество ранеными и убитыми, арестованными и разстрѣлянными, но не сдаваясь и твердо вѣря въ конечную побѣду человѣка надъ цифрой и пахоты надъ шахматной доской.

Побѣды этой спекуляція къ сожалѣнію не одержала. Совершенно неожиданнымъ маневромъ своего врага она была внезапно опрокинута и разбита. То, что было не подъ силу никакому террору, оказалось пустяшнымъ дѣломъ для обходнаго движенія «нэпа».

Героическому сословію спекулянтовъ, рожденному безуміемъ коммунистическаго творчества, «нэпъ» нанесъ рѣшительный ударъ. Изъ героевъ и защитниковъ правъ свободнаго человѣка, чѣмъ то связанныхъ со своими живописными романтическими предками: пиратами, разбойниками, конокрадами, охотниками, онъ превратилъ ихъ въ отвратительныхъ самоувѣренныхъ «нэпмановъ», покойно и солидно сидящихъ, словно клопы въ матрацахъ, въ социальныхъ гнѣздилищахъ своихъ банковъ, трестовъ и внѣшторговъ...

Когда по приѣздѣ въ Берлинъ я вышелъ на Tauentzienstrasse и попалъ — было часовъ 6 вечера — въ самый разливъ русской спекулянтской стихіи, въ широкомъ руслѣ которой

неслись: котиковыя манто, сине отштукатуренныя лица, набѣгающія волны духовъ, брилліанты цѣлыми гнѣздами, жадные, блудливыя глаза въ темныхъ кругахъ; въ заложенныхъ за спину красныхъ рукахъ толстыя, желтыя палки-хвосты, сигары въ брезгливыхъ губахъ, играющія обтянутыя бедра, золотыя фасады зубовъ, кроваво квадратныя рты, тѣлесно-шелковые чулки, сѣрая замша въ черномъ лакѣ, и надъ всѣмъ отдѣльныя слова и фразы единой во всѣхъ устахъ валютно биржевой рѣчи, — я съ нѣжностью вспомнилъ героическихъ московскихъ спекулянтовъ 19 и 20 г. г., говорившихъ по телефону только «эзоповскимъ» языкомъ, прятавшихъ въ случаѣ опасности брилліанты за скулу, при знакомствѣ никогда не называвшихъ своихъ фамилій, постоянно дрожавшихъ по ночамъ при звукѣ приближающагося автомобиля, и услышалъ гдѣ-то глубоко въ душѣ совершенно неожиданную для себя фразу — эхъ, нѣту на васъ коммунистовъ!

Въ цѣломъ рядѣ своихъ встрѣчъ съ эмигрантами меня безконечно поражала одна, для очень многихъ эмигрантовъ глубоко характерная черта. Они встрѣчали меня, какъ только что пріѣхавшаго изъ Россіи, съ явною, не только ко мнѣ, но прежде всего къ Россіи относящейся пріязнью и даже любовью. Я непосредственно чувствовалъ, что я для нихъ тотъ «дымъ отечества», который для несмѣющихъ вернуться домой быть можетъ еще «сладостнѣе и пріятнѣе», чѣмъ для возвратившихся послѣ долгихъ странствій.

Но такое отношеніе ко мнѣ часто какъ-то внезапно нарушалось при первыхъ же моихъ словахъ о Россіи. Достаточно было, рассказывая о томъ, какъ жилось и что творилось кругомъ, отмѣтить то или другое положительное явленіе новой жизни, все равно, совсѣмъ-ли конкретное, что въ такой-то деревнѣ не осталось больше мѣщанъ, что всѣ мѣщане обзавелись скотомъ, или болѣе общее, что подростающее поколѣніе, хотя и не учится, но зато развивается быстрѣе и глубже, чѣмъ раньше, — какъ мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже страннымъ образомъ... разочаровы-

вались. Получалась совершенно непонятная картина: любовь, очевидная, патриотическая любовь моих собесѣдниковъ къ Россіи явно требовала отъ меня совершенно недвусмысленной ненависти къ ней. Всякая же вѣра въ то, что Россія жива, что она защищается, что въ ней многое становится на ноги, принималась какъ цинизмъ и кощунство, какъ желаніе выбрить и нарумянить покойника и посадить его вмѣстѣ съ живыми за столъ. Говори я, что не Россія жива, а что большевики безсмертны, что не Россія успѣшно защищается отъ большевизма, но что большевики успѣшно защищаютъ Россію, подозрительность и негсдованіе моихъ собесѣдниковъ были бы объяснимы. Но этого я никогда не говорилъ. Моя защита большевиковъ никогда не достигала энергіи хотя бы той формулы, которою Гете защищаетъ всякое зло:

«Ein Teil von jener Kraft

«Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

Утверждать, что большевики всегда творятъ благо, было бы слишкомъ большимъ оптимизмомъ, но не видѣть, что иногда они его все-таки творятъ — зрячему человѣку все же нельзя. Ясно, что видѣть это совершенно не значитъ вѣрить въ большевиковъ, но значитъ вѣрить въ свѣтъ, въ добро, въ смыслъ исторіи, въ Россію. Утверждая, что ужасы войны и революціи, окопы и тюрьмы многихъ привели къ Богу, я конечно всегда оставался очень далекомъ отъ утвержденія, что всѣ палачи — священники и пророки. Нѣтъ, я волновалъ и отталкивалъ моихъ собесѣдниковъ не совершенно чуждою мнѣ защитою большевиковъ, какъ власти, а защитою моей вѣры, что несмотря на большевиковъ Россія осталась въ Россіи, а не перѣѣхала въ эмигрантскихъ сердцахъ въ Парижъ, Берлинъ и Прагу.

Я говорю въ эмигрантскихъ сердцахъ. Что же однако значитъ — «эмигрантское сердце»? Вопросъ этотъ заслуживаетъ самаго тщательнаго вниманія. Внѣшній признакъ территоріи для опредѣленія *психологической* сущности «эмиграціи» очевидно недостаточенъ. Ясно, что какъ въ Россіи очень много типичныхъ эмигрантовъ, такъ и среди эмигрантовъ Европы

очень много людей, по своему внутреннему строю не ~~имѣю~~щихъ ничего общаго съ эмиграціей, въ смыслѣ *эмигрантщины*. Что же такое эмигрантъ въ этомъ послѣднемъ и ~~един~~ственно важномъ смыслѣ?

Эмигрантъ, это человѣкъ, въ которомъ ощущеніе причиненнаго ему революціей непоправимаго зла и незалечимаго страданія окончательно выжрало ощущеніе самодовлѣющаго бытія какъ революціи, такъ и Россіи. Это человѣкъ, потерявшій возможность яснаго различенія въ своемъ внутреннемъ опытѣ революціи, какъ своей биографіи, отъ революціи, какъ главы русской исторіи. Это человѣкъ, схватившій насморкъ на космическомъ сквознякѣ революціи и теперь отрицающій Божій космосъ во имя своего насморка.

Каждому человѣку свойственна жажда гармоніи. Чувство гармоніи есть чувство подчиненности окружающаго тебя міра закону твоего внутренняго бытія. Такъ какъ эмигрантское сердце изнутри живетъ исключительно ощущеніемъ катастрофы, гибели, распада, то ему совершенно необходимо, чтобы и вокругъ него все гнбло, распадалось, умирало. Потому всякое утвержденіе, что гдѣ-то, и прежде всего въ большевистской Россіи, причинившей ему всѣ его муки, что-то улучшается и оживаетъ, причиняетъ совершенно невыносимую физическую боль.

Что большинству обывателей трагическая стилистика послѣднихъ лѣтъ оказалась не по плечу, что большинство обывателей съ легкостью отсклось отъ Россіи, когда оказалось, что она не только тихая пристань, но и бурное море, и внутренне ушло въ эмиграцію, въ концѣ концовъ не проблема. Называть обывателя, душевно разгромленнаго революціей, эмигрантомъ — въ сущности нечему, его достаточно продолжать считать тѣмъ, чѣмъ онъ, какъ всегда былъ, такъ и остался — обывателемъ.

Проблема же эмиграціи въ болѣе узкомъ и существенномъ смыслѣ этого слова начинается только тамъ, гдѣ все описанное мною, какъ внутреннее эмигрированіе, стало печальною судь-

бою не обывательскаго бездушья, а настоящихъ творческихъ душъ.

Художники, мыслители, писатели, политики, вчерашніе вожди и властители, духовные центры и практическіе организаторы внутренней жизни Россіи, вдругъ выбитые изъ своихъ центральныхъ позицій, дезорганизованные и растерявшіеся, потерявшіе вѣру въ свой собственный голосъ, но не потерявшіе жажду быть набатомъ и благовѣстомъ, — вотъ тѣ, совершенно особенные по своему характерному душевному звуку, ожесточенные, слѣпые, впустую воюющіе, глубоко несчастные люди, которые одни только и заслуживаютъ карающаго названія эмигрантовъ, если употреблять это слово какъ терминъ въ непривычно суженномъ, но принципиально единственно существеномъ смыслѣ. Эмигранты — души еще вчера пролежавшія по духовнымъ далямъ Россіи привольными столбовыми дорогами, нынѣ же печальными верстовыми столбами торчащія надъ своимъ собственнымъ прошлымъ, отмѣчая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо нихъ жизни...

Людей, совсѣмъ и окончательно лишенныхъ всякой внутренней эмигрантщины, среди эмигрантовъ, конечно, не много. Если бы ихъ было много, это было бы чудомъ. Но зато и настоящихъ эмигрантскихъ душъ, до краевъ наполненныхъ «эмигрантщиной», къ счастью еще много меньше. Поскольку же они встрѣчаются, они производятъ страшное впечатлѣніе; быть можетъ болѣе страшное, чѣмъ русская Tauentzienstrasse подъ вечеръ. Въ эмигрантщинѣ Россія сгниваетъ; въ «нѣлманствѣ» она разводитъ на себѣ червей. Извѣденный червями трупъ страшнѣе отгѣвшихся на немъ червей.

Я никогда не былъ сторонникомъ блага движенія; какъ его идеологія, такъ и многіе изъ его вдохновителей и вождей всегда вызывали во мнѣ если и не прямую антипатію, то все же величайшія сомнѣнія и настороженную подозрительность. Такая невозможность внутренне сочувствовать бѣлому движенію была для меня въ извѣстномъ смыслѣ всегда тяжела.

Ужъ очень много близкихъ людей шло на Москву въ добровольческой арміи, и прежде всего шли лучшіе элементы того рядового русскаго офицерства, которое за годы войны я привыкъ не только искренне уважать, но съ которымъ я плотно свыкъся и которое отъ души полюбилъ. Рядовое наше офицерство, какимъ я его засталъ на фронтѣ въ оберъ-офицерскихъ чинахъ, было совсѣмъ не тѣмъ, за что его всегда почитала радикальная интеллигенція. Какъ офицерство монархической Россіи, оно, конечно, и не могло быть и не было революціонно, ни социалистично, но какъ всякій обездоленный классъ, оно было въ концѣ концовъ какъ въ бытовомъ, такъ и въ психологическомъ смыслѣ глубоко народолюбиво. Вынянченный деньщикомъ, воспитанный въ кадетскомъ корпусѣ задаромъ или на мѣдныхъ деньгахъ, съ раннихъ лѣтъ впитавшій въ себя впечатлѣніе вѣчной нужды многоголовой штабъ-капитанской семьи, кадровый офицеръ несмотря на свое, часто только стилистическое пристрастіе къ рукоприкладству и крѣпкому поминанью, зачастую много легче, проще и ближе подходилъ къ солдату, къ народу, чѣмъ многіе радикальные интеллигенты.

Воевали всѣ, за очень немногими исключеніями, честно и храбро, многіе доблестно. При этомъ были скромны. Ни общество, ни правительство не воздавали имъ должнаго. Санитарныя двуколки безъ рессоръ, товарные вагоны, превращенныя въ санитарныя исключительно при помощи кисти маляра, эвакуаціонныя пункты, похожіе на застѣнки или безтактная роскошь великокняжескихъ или всякихъ иныхъ именныхъ лазаретовъ, въ которыхъ даже умирали подъ оперные переливы Алябьевскаго «Соловья», частая задержка нищенскаго жалованья, грязь и вши на этапахъ, все это рядовое русское офицерство не замѣчало, не видѣло...

Когда надъ фронтомъ неожиданнѣе всѣхъ непріятельскихъ шрапнелей разорвалась революція, русское офицерство, которому она ничего хорошаго не несла и не обѣщала, приняло ее безъ малѣйшихъ оговорокъ и сопротивленія. Въ отвѣтъ

на это оно было революціей сразу-же взято «подъ подозрѣніе». Неся всѣмъ всѣ возможныя и всѣ невозможныя свободы, мартовская революція все-же не нашла возможнымъ разрѣшить офицерству свои профессиональные союзы, офицерскіе комитеты безъ участія солдатъ. Чѣмъ дальше развѣртывалась революція, тѣмъ непріемлемѣе становилась она для офицерства. Брестскій миръ», кровавымъ бичемъ хлестнувшій по опозоренному лицу всей Россіи, больше всего, съ чисто *психологической* точки зрѣнія, ударилъ, конечно, по рядовому офицерству.

Вмѣстѣ со всей арміей оно годами ждало мира, не блистательнаго и жестокаго, но справедливаго и благообразнаго. Какъ о чудѣ мечтало оно о томъ часѣ, когда покатыя обратнo въ родныя углы Россіи воинскіе поѣзда. Въ эти минуты духовнаго предвосхищенія «мира» свѣтлѣла память о погибшихъ, крѣпла дружба между живыми и безконечно дорогимъ и близкимъ душѣ звучало пѣнье въ солдатскихъ вагонахъ, пѣнье родныхъ, испытанныхъ, любимыхъ ротъ и батарей.

Кромѣ этого часа ожидаемаго мира у офицерства ничего за душою не было. Всѣмъ своимъ воспитаніемъ изначально оторванное отъ всякой иной жизни, кромѣ военной, никакъ не связанное въ своемъ большинствѣ съ общественной, политической и культурной жизнью Россіи и чуждое хозяйственнымъ солдатскимъ интересамъ, оно ждало этого часа какъ единственнаго оправданія всей своей жизни, начиная съ приготовительнаго класса кадетскаго корпуса и кончая страшными минутами въ окопахъ и на операціонныхъ столахъ. И этотъ часъ былъ у него большевиками украденъ.

Долгожданный миръ всходилъ надъ Россіей не святымъ, а кощунственнымъ, не въ благообразіи, а въ безобразіи, ведя за своей позорной колесницей со связанными за спиной руками, оплеванными и избитыми, тѣхъ самыхъ пріявшихъ революцію офицеровъ, которые, многократно раненые, возвращались на фронтъ, чтобы защищать Россію и часть своего мира.

Все это дѣлаетъ вполне понятнымъ, почему честное и уважающее себя офицерство психологически должно было съ головою уйти въ бѣлое движеніе. Но все это дѣлаетъ вполне по-

нятнымъ и то, почему уходъ офицерства въ бѣлое движеніе вполне могъ не быть и чаще всего и *не былъ* уходомъ въ движеніе контръ-революціонное.

Теперь, когда идея интервенціи потеряла всякую почву подъ ногами, когда запоздавшее отрицаніе ея со стороны демократіи невольно покрываетъ и прошлое интервенціи все сгущающимися тѣнями, въ сердцѣ невольно подымается боль за всѣхъ тѣхъ, которые и подъ Корниловымъ, и подъ Деникинымъ, и подъ Врангелемъ воевали, конечно, безкорыстно, чѣмъ царскіе «генштабисты» и молодые красноармейцы подъ Троцкимъ и Каменевымъ, и которыхъ, кажется, снова ничего не ждетъ, кромѣ неблагодарности и забвенія.

Съ первыхъ же дней моего пребыванія въ Берлинѣ стали приходять письма отъ тѣхъ, кого, сидя въ Россіи, уже и не чаялъ въ живыхъ. Приходили письма изъ самыхъ разныхъ мѣстъ: изъ Югославіи, изъ Константинополя, и Чехословакіи, и Болгаріи, но всѣ они были въ какомъ-то одномъ, главномъ смыслѣ — едины, словно всѣ рассказывали одну и ту же горемычную повѣсть. Причемъ родственно звучали во всѣхъ рассказахъ и исповѣдяхъ не только внѣшніе факты, но и настроенія, но и размышленія. О фактахъ лучше не говорить — они ужасны. Десять лѣтъ царской войны не могли бы разрушить такого количества жизней и скопить такого количества людей, какъ скосили и разрушили три года гражданской. Въ моментъ революціи въ нашемъ дивизионѣ было пятнадцать офицеровъ. Вотъ судьбы двѣнадцати изъ нихъ: двое умерли въ ужасныхъ условіяхъ отъ тифа; одинъ разстрѣлянъ большевиками въ Сибири; одинъ зарубленъ большевицкой конницей на батарее; одинъ убитъ въ армянской арміи; одинъ пропалъ въ польской; одинъ лишилъ себя жизни; одинъ работаетъ шоферомъ на грузовикѣ; двое бьютъ щелевъ на болгарскомъ шоссе, и только двое живутъ по человѣчески: одинъ студентъ высшаго учебнаго заведенія, другой служитъ въ сербской арміи.

Таковы факты. Каковы же порожденныя ими чувства и убѣжденія?

«Могу сказать только одно, и знаю ты мнѣ повѣришь, мы съ братомъ служили возрожденію Россіи, какъ мы его понимали, не щадя ни своихъ силъ, ни своего живота, въ буквальномъ смыслѣ слова. *И мы готовы и дальше такъ же служить.* Отъ всякой же политики и общественной работы мы, *разочарованные въ ней* и въ своемъ къ ней призваніи, окончательно и безповоротно ушли».

И то же самое, иначе, въ другомъ письмѣ.

«Около семи лѣтъ борьбы, увлеченій и *разочарованій*... Нѣтъ, *никакіе политическіе эксперименты* не дадутъ здороваго разрѣшенія хаотическаго узла Россіи...

А какъ грызутся, какъ спорятъ политическіе лагеря, какую бумажную усобицу ведутъ наши эмигранты, и, что страннѣе кажется, что ни одинъ изъ лагерей не имѣетъ ни своего вѣчевого колокола, ни своего удѣла, а говорятъ «быть по сему, и баста».

А вотъ еще страшнѣе и энергичнѣе:

«Какъ разъ сейчасъ, когда я пишу, происходитъ собраніе протеста (одного изъ безчисленныхъ) по поводу процесса Тихона. Меня туда не тянетъ. Не вижу ни смысла, ни значенія этихъ протестовъ. Когда изъ нашей камеры уводили невинныхъ, дѣйствительно невинныхъ дюдей на разстрѣлъ, смѣшными и ненужными казались мнѣ эти, себя обѣляющіе протесты. Когда же мнѣ дѣйствительно станеть не въ моготу и я самъ захочу протестовать, я можетъ быть пойду и тоже убью какогонибудь Урицкаго или Воровскаго».

Вотъ три бѣлогвардейскихъ письма. Во всѣхъ острая боль тяжелаго разочарованія и явное отвращеніе къ политикѣ. Въ первомъ отвращеніе растерянное; во второмъ — назидательное; въ третьемъ — отчаявшееся и потому угрожающее.

Пути, которыми авторы полученныхъ мною писемъ пришли къ своему аполитизму, вѣроятно безконечно различны; и все-же думается, что въ послѣднемъ смыслѣ всѣ они сводимы къ ощущенію той мучительной сложности и не высвѣтляемой лжи, въ которыя офицерство запутала трагедія гражданской войны. Вотъ еще одинъ, психологически очень интересный,

отрывокъ изъ письма, недавно полученнаго мною отъ блестящаго кадроваго офицера, много силъ положившаго сначала на проведеніе въ жизнь воли февральской революціи, потомъ на борьбу противъ большевиковъ.

«Если бы ты зналъ какую красотую и правдой представляется мнѣ, послѣ всѣхъ ужасовъ пролетарской революціи и гражданской бойни, та наша (если разрѣшишь такъ выразиться) война. Все послѣдующее, *уродливое и жестокое*, не только не заслонило моихъ старыхъ воспоминаній, но очистивъ ихъ своею *грязью и чернотою* (какъ уголь чистить бѣлыхъ лошадей) какъ то даже придвинуло ихъ ко мнѣ...

.И сейчасъ, такъ близки моей душѣ Карпаты и милая Ондава, гдѣ мы стояли съ тобой весной 15-го года... Объясни мнѣ почему я сейчасъ, въ 23 году, могу тебѣ точно и подробно перечислить всѣ деревни, въ которыхъ мы ночевали на Юго-Западномъ фронтѣ и почему я не назову тебѣ почти ни одной отъ Харькова до Новороссійска»...

Изумительное наблюдение и изумительно поставленный вопросъ. И дальше, сквозь все письмо все то же недоумѣніе и все тотъ же вопросъ.

«Вѣдь вотъ мало-ли я слышалъ остроумія, и вѣдь не сложная, кажется, шутка твой комплиментъ доктору Зильберману, что онъ на своемъ аргамакѣ имѣетъ какой-то ущельный видъ,—а вѣдь вотъ умирать буду, не забуду и тебя на косящей глазомъ лошади и убогую полевую дорогу, и польщеннаго доктора на незнающемъ скребницы «шкапѣ», и смѣющагося Женю, и покосившіяся крестикъ на пригоркѣ, и вызванные твоей шуткой образы Кавказа, Пятигорска и Лермонтова».

Отвѣта на эти вопросы авторъ письма въ себѣ не находитъ, хотя, думается, отвѣтъ у него есть.

«Когда пріѣзжалъ изъ отпуска на фронтъ, всегда чувствовалъ, что изъ сутолоки и суеты бурливыхъ разговоровъ попадалъ въ сферу только нужнаго, только важнаго и потому яснаго... На фронтѣ у меня на душѣ всегда было *спокойно*, спокойно даже тогда, когда такъ волновался за Женю, за тебя, за Ивана — беспокоился всѣмъ существомъ, но не душой, не глав-

нымъ. Въ главномъ не было сомнѣнія, въ главномъ всегда ощущалъ «такъ надо, такъ надо... иначе нельзя»; и было все просто, все ясно, какъ въ Пифагоровой теоремѣ, пока существуютъ аксіомы. *Но не дай Богъ усомниться*, что кратчайшее разстояніе между двумя точками есть прямая».

Вотъ въ этихъ словахъ и весь отвѣтъ. Во внѣшней войнѣ офицерство участвовало твердо зная гдѣ правда, гдѣ ложь, гдѣ долгъ и гдѣ бѣгство отъ него. Эта полная ясность нравственнаго положенія естественно отражалась и въ ясности взоровъ, которыми воюющее офицерство смотрѣло на весь міръ. Въ эти ясные взоры всѣ вещи входили легко и спокойно, сразу же располагаясь въ нихъ съ той графической четкостью, съ которой располагается въ душѣ все, входящее въ нее въ большую минуту. Что эта ясность была лишь условной, что она держалась въ офицерскомъ сознаніи не столько наличностью въ немъ всѣхъ послѣднихъ отвѣтовъ, сколько отсутствіемъ послѣднихъ вопросовъ, конечно, не важно. Важно лишь то, что все держалось на аксіомахъ. Къ аксіомамъ же офицерской этики принадлежало и положеніе «о послѣднемъ не спрашивать».

Гражданская война разрушила всю эту вѣками возвращенную ясность офицерскаго міросозерцанія. Предоставивъ каждому самому себѣ и предоставивъ каждому невыносимую свободу дѣйствія и рѣшенія, она естественно сначала смутила, потомъ затуманила и наконецъ окончательно погрузила во мракъ оторваннаго отъ своихъ традицій души и сознанія своихъ лучшихъ участниковъ. Темное сознаніе мракомъ влилось во взоры и взоры стали *безпамятны*. Со смущенною душою, съ поколебленною ясностью совѣсти, со взорами темными отъ тобою творимаго безумія нельзя отдаваться идиллическимъ впечатлѣніямъ дорогъ и ночлеговъ, нельзя наслаждаться веселою шуткой, любовью и дружбой. Нѣтъ, не вѣчно темный ликъ смерти «потемнѣлъ, исказился, испакостился въ гражданской войнѣ», а потемнѣлъ и исказился ликъ жизни, утратившей свѣтъ своей аксіоматической вѣры.

И все же, несмотря на страшный тупикъ, въ который очевидно попали лучшіе участники добровольческой арміи, на полную утрату ими всѣхъ незыблемыхъ основъ жизни, на

вполнѣ откристаллизовавшееся въ нихъ отрицаніе всякаго смысла замотавшейся въ себѣ самой политической борьбы, — во всѣхъ полученныхъ мною письмахъ и во всѣхъ разговорахъ съ офицерами добровольцами, никогда даже и не мерещился мнѣ тотъ мертвый звукъ эмигрантщины, который часто такъ явно слышится въ злобномъ мудрствованіи политическихъ вождей и идеологовъ воинствующаго добровольчества.

«Эмигрантщина» — отрицаніе будущаго во имя прошлаго; вѣра въ мертвый принципъ и растерянность передъ жизнью; старческое брюзжаніе надъ чашкою съ собственной желчью.

Письма же полученные мною, все то, о чемъ они говорятъ, и всѣ тѣ, отъ имени которыхъ они говорятъ, представляютъ собою нѣчто совсѣмъ другое и даже прямо обратное. Это частичное отрицаніе своего недавняго прошлаго во имя искомаго будущаго. Страстное отрицаніе всякихъ принциповъ и прежде всего всякихъ партійныхъ и политическихъ платформъ во имя жизни. Порою же страшное раздумье надъ чашею съ ядомъ, т. е. тотъ подлинный, творческій сократизмъ: «я знаю, что я ничего не знаю», съ котораго, конечно, начнется строеніе будущей жизни Россіи.

Думаю, что этотъ сократизмъ характеренъ не только для настроенія идейно надломленнаго добровольческаго офицерства, но въ совершенно другихъ конечно перспективахъ и для зарубежнаго студенчества, однимъ словомъ для настроеній всѣхъ наиболѣе живыхъ и честныхъ элементовъ незараженной «эмигрантщиной» эмиграціи.

Каждога человѣка, стоящаго сейчасъ на распутьи въ сложныхъ чувствахъ и сократическихъ сомнѣніяхъ, подстерегаетъ цѣлый рядъ соблазновъ и опасностей.

Для всякой сложности соблазнительнѣе всего элементарность. И для всякихъ сомнѣній — самоувѣренность.

Помню свой разговоръ въ 1917 г. въ Царскомъ Селѣ съ Плехановымъ. Говоря о Ленинѣ, онъ сказалъ мнѣ: «какъ я только познакомился съ нимъ, я сразу понялъ, что этотъ человѣкъ можетъ оказаться для нашего дѣла очень опаснымъ, такъ какъ его главный талантъ — невѣроятный даръ упрощенія».

Думаю, что подмѣченный Плехановымъ въ Ленинѣ даръ упрощенія проникъ въ русскую жизнь гораздо глубже, чѣмъ это видно на первый взглядъ. Быть можетъ онъ не только материально, экономически развалилъ Россію, но и стилистически уподобилъ себѣ своихъ идейныхъ противниковъ.

Если внимательнѣе присмотрѣться ко многимъ господствующимъ сейчасъ въ русской жизни культурнымъ явленіямъ, въ особенности же къ тѣмъ формуламъ спасенія Россіи, которыя предлагаются нынѣ нѣкоторыми «убѣжденными людьми» всѣмъ «знающимъ, что они ничего не знаютъ», то невольно становится жутко: до того силенъ во всемъ ленинскій даръ упрощенія.

И въ «смѣновѣховствѣ» и въ вульгарномъ монархизмѣ, увлекающемся съ одной стороны скобелевскими талантами Троцкого, а съ другой думающемъ, что Россія гибнетъ отъ «жида», и въ аристократическомъ монархизмѣ, увлекающемся религиозно-соціальною структурою средневѣковья, и въ почти модномъ нынѣ отрицаніи демократіи, какъ пустой формы, и социализма, какъ коммунизма, игнорирующемъ элементарныя соображенія, что и форма на своемъ мѣстѣ можетъ быть величайшимъ содержаніемъ, и что не всѣ дѣти выходятъ въ отцовъ, а нѣкоторые и въ прокожихъ молодцовъ, и во многомъ другомъ, очень много неосознанной большевицкой заразы.

Спасти всѣхъ стоящихъ сейчасъ на распутьи отъ этого вездѣсущаго большевизма, отъ преждевременнаго движенія все равно куда, лишь бы по линіи наименьшаго сопротивленія, въ особенности же отъ идейнаго признанія большевицкой власти, все равно въ полкъ ли «смѣновѣховства» или монархизма — величайшая задача демократіи.

То, что она и сама стоитъ сейчасъ на распутьи, какъ и тѣ, которыхъ ей должно спасать, неважно. Важно только одно: важно слѣдить за собою, какъ-бы съ распутья сократическаго раздумья не попасть на пути гамлетическаго безволя. *)

Ф. Степунъ.

*) Къ этимъ вопросамъ я думаю вернуться въ слѣдующихъ очеркахъ.